

ПУШКИН И ФРАНЦУЗСКИЕ РОМАНТИКИ

К юбилею французского романтизма

Был ли Пушкин романтиком? Вопрос этот в известном смысле праздный, поскольку романтизм вообще по содержанию неопределим, обозначая весьма разнообразные явления известной исторической эпохи, объединяемые лишь тем, что они, как некая **новизна** этого времени, противопоставляются какой-то унаследованной от другой эпохи **старине** (так понимали романтизм столь различные умы, как Пушкин и Стендаль). Есть много романтизмов и самые различные по духу писатели именовались романтиками. Но поскольку вопрос о романтизме Пушкина распадается на ряд отдельных конкретных вопросов об отношении Пушкина к **современной** ему западноевропейской (и отечественной) литературе, вошедшей в историю под **наименованием** романтизма, вопрос этот, или вопросы эти получают определенные очертания, и ответ, или ответы могут быть даны довольно точные.

Пушкин всегда, и в особенности в пору наибольшей своей зрелости, сурово относился к французским романтикам и вообще был критически настроен в отношении современной ему французской литературы. Напомню его жестокий, обрывающийся на полуслове, отзыв 1831 г.:

Всем известно, что французы народ самый антипоэтический. Славнейшие представители сего остроумного и положительного народа: Монтань, Монтескье, Вольтер, доказали это. Монтань, пу-

тешествовавший по Италии, не упоминает ни о Микель-Анджело, ни о Рафаэле; Монтеские смеется над Гомером; Вольтер, кроме Расина и Горация, кажется, не понял ни одного поэта... Если обратим внимание на критические результаты, обращающиеся в народе и принятые за литературные аксиомы, то мы изумимся их бедности... Ламартин скучнее Юма и не имеет его глубины. Не знаю, признались ли они в тощем однообразии, в вялой бесцветности своего Ламартина, но тому лет 10 — его ставили наравне с Байроном и Шекспиром...

Не менее сурово о Ламартине, Викторе Гюго, Альфреде де Виньи отозвался Пушкин по поводу Шатобриана перевода «Потерянного рая» Мильтона, противопоставив названным французским знаменитостям другое имя, Вальтер Скотта, имя, тоже неотъемлемое от истории романтизма вообще, и английского в частности. В этом отзыве о Шатобриане Пушкин признает Гюго, «любимца парижской публики», «второстепенным поэтом», «неровным, грубым», его драмы — «уродливыми». Альфреда де Виньи, которого «французские критики поставили без церемонии на одной доске с Вальтер Скоттом», Пушкин характеризует, как «чопорного и манерного», а его знаменитый роман «Сэн Марс» называет «оближенным».

Но Пушкин и в эту эпоху не относился огульно-отрицательно ко всей французской литературе. Об этом свидетельствует его полемическая статья 1836 г. против М. Е. Лобанова: в ней Пушкин исторически совершенно справедливо оспаривает мысль Лобанова, французский романтизм той эпохи связывавшего с духом французской революции.

Спрашиваю, — говорит в этой статье Пушкин — можно ли на целый народ изрекать такую страшную анафему? Народ, который произвел Фенелона,

Расина, Боссюэта, Паскаля и Монтескье; который и ныне гордится Шатобрианом и Балляншем; который Ламартина признал первым из своих поэтов, который Нибуру и Галляму противопоставил Баранта, обоих Тьерри и Гизо; народ, который оказывает столь сильное религиозное стремление, который так торжественно отрекается от жалких скептических умствований минувшего столетия; ужели весь сей народ должен ответствовать за произведения нескольких писателей, большею частью молодых людей, употребляющих во зло свои таланты и основывающих корыстные расчеты на любопытстве и нервной раздражительности читателей?

Гениальный и образованный консерватор Пушкин исторически прав, когда подчеркивает, что между развитием современной ему литературы XIX в. и политическими событиями конца XVIII в. нет такой зависимости, какую утверждал неумный и необразованный консерватор Лобанов, и что новые явления французской литературы непосредственно связаны не с революцией, а, наоборот, с реставрацией:

В словесности французской совершилась своя революция, чуждая политическому перевороту, ниспровергшему старинную монархию Людовика XIV. В самое мрачное время революции, литература производила приторные, сентиментальные, нравоучительные книжки. Литературные чудовища начали появляться уже в последние времена кроткого и благочестивого «восстановления» (restoration). Начало сему явлению должно искать в самой литературе. Долгое время покорствовав своенравным уставам, давшим ей слишком стеснительные формы, она ударилась в крайнюю сторону, и забвение всяких правил стала почитать законной свободой. Мелочная и ложная

теория, утвержденная старинными риториками, будто бы польза есть условие и цель изящной словесности, сама собою уничтожилась. Почувствовали, что цель художества есть идеал, а не **нравоучение**. Но писатели французские поняли одну только половину истины неоспоримой и положили, что и нравственное безобразие может быть целью поэзии, т.-е. идеалом! Прежние романисты представляли человеческую природу в какой-то жеманной напыщенности: награда добродетели и наказание порока были непременно условием всякого их вымысла; нынешние, напротив, любят выставлять порок всегда и везде торжествующим, и в сердце человеческом обретают только две струны: эгоизм и тщеславие. Такой поверхностный взгляд на природу человеческую обличает, конечно, мелкомыслие.

В этих словах не назван Виктор Гюго и не упомянуто его предисловие к «Кромвелю», но по содержанию это — полемика именно с Гюго, как автором знаменитого предисловия, явившегося одним из самых громких манифестов французского романтизма. Пушкин подчеркивал в 1836 г., что

...поныне влияние ее [новой французской литературы — П. С.] было слабо [в России П. С.] Оно ограничивалось только переводами и кой-какими подражаниями, не имевшими большого успеха. Журналы наши, которые, как и везде, правильно и неправильно управляют общим мнением, вообще оказались противниками новой романтической школы. Оригинальные романы, имевшие у нас наиболее успеха, принадлежат к числу нравоописательных и исторических. Лесаж и Вальтер-Скотт служили им образцами, а не Бальзак и не Жюль-Жанен. Поэзия осталась чужда влиянию французскому: она более и более

дружится с поэзией германскою, и гордо сохраняет свою независимость от вкусов и требований публики.

Тут любопытно неодобрительное по существу упоминание Бальзака, который был уже тогда автором таких вещей, как «*La maison du chat qui pelote*», «*La femme de trente ans*», «*Le médecin de campagne*», «*Le père Goriot*», «*Eugénie Grandet*», (вещь, которую перевел не кто иной, как Достоевский), «*Le lys dans la vallée*».

В Пушкинском круге вообще Бальзака, повидимому, не ценили, о чем свидетельствует и отзыв о нем кн. Вяземского в «Записной книжке». Это интересно отметить в виду того огромного значения, которое Бальзак бесспорно приобрел для позднейшей русской литературы в лице Достоевского, а может быть, и Гоголя. Но Бальзак, личными нитями связанный с романтиками, в истории романа и повести, так же, впрочем, как и сам Пушкин, уже выходит из «романтизма», являясь творцом того нового восприятия художественной правды, которое принято именовать реализмом. Недостаточная и неправильная оценка Пушкиным и его кругом Бальзака имеет свою русскую параллель во французской литературе: один из самых умных и тонких во французской литературе ценителей Бальзака, сам блестяще одаренный и большой писатель, Барбэ-д'Орвильи, совсем не понял и не оценил русского гениального современника Бальзака, Гоголя, значение и влияние которого в русской литературе, а через нее и в мировой, по меньшей мере равняется значению и влиянию Бальзака.

Рядом с отрицательным отзывом Пушкина о Бальзаке, надлежит отметить весьма высокую оценку им г-жи Сталь, этой крестной матери французского романтизма, и восторженный отзыв об Альфреде де Мюссэ.

Между тем, как сладкозвучный, но однообразный, Ламартин готовил новые благочестивые размышления, под заслуженным названием *Harmonies religieuses*; между тем, как важный Victor Hugo издавал свои блестящие, хотя и натянутые, Восточные стихотворения (*les Orientales*); между тем, как бедный скептик Делорм [Делорм — псевдоним Сент-Бева — П. С.] воскресал в виде исправляющегося неопита, и строгость приличий была объявлена в приказе по всей французской литературе — вдруг явился молодой поэт с книжечкой сказок и песен и произвел *не до у м е н и е...* » [Далее следуют весьма хвалебные отзывы об отдельных произведениях Мюссэ].

Созревая, Пушкин отходил и от французского классицизма, в то же время враждебно отталкиваясь от французского романтизма. Французский классицизм Пушкин всегда однако ценил выше, чем современный ему французский романтизм. Он весьма высоко ставил не только Корнеля, Расина, Мольера и Лафонтена, но даже и Буало, в котором видел «поэта, одаренного мощным талантом, резким умом». Недаром он не хотел уступать французским романтикам любимого им и почитаемого за классика Андре Шенье, которого он для русских читателей навсегда обесмертил своим чудесным стихотворением.

Ценя великих французских классиков, Пушкин, как писатель зрелый, чувствовал себя однако ближе, чем к французам — к англичанам, к Шекспиру прежде всего, к немцам, и прежде всего к Гете. Последнего он ощущал как **«великана романтической поэзии»**.

Гете имел большое влияние на Байрона. Фауст тревожил воображение Чайльд Гарольда. Два раза Байрон пытался бороться с великаном

романтической поэзии — и остался хром, как Иаков.

Положительная оценка, данная в свое время Пушкиным значению для русской культуры германской философии, сближает зрелого Пушкина и с позднейшим западничеством (в лице Станкевича, Белинского, Боткина, Герцена), и с сложившимся именно под влиянием германской философии, ею напоенным, славянофильством.

Из всех французских писателей, так или иначе входящих в «главу» о романтизме, наибольшее значение имели для Пушкина двое.

Прежде всего нужно назвать Проспера Меримэ, блестящую подделку которого, «Песни западных славян», Пушкин так гениально перевел, превратив фальсификат в какую-то подлинную поэтическую жемчужину, и который сам переводил своего великого переводчика, усвоив таким образом французской литературе несравненную «Пиковую даму». Но Меримэ — его Пушкин признавал «острым и оригинальным писателем», произведения которого «чрезвычайно замечательны в глубоком и жалком упадке нынешней французской литературы», т. е. именно расцветавшего тогда романтизма (сборник Меримэ вышел в 1827 году) — имел с другими французскими «романтиками» очень мало внутреннего родства, будучи по существу близок только к Стендалю, этому «последнему пришельцу из XVIII века», внутренне тоже ничего общего не имевшему с современными ему романтиками.

А затем Пушкин несомненно испытал на себе влияние того французского писателя, который, будучи ровесником г-жи де Сталь и так же, как она, носителем германского влияния, может почитаться как бы крестным отцом французского романтизма, а именно плодовитого и разностороннего Шарля (или

как его называл Пушкин, Карла) Нодье. Нодье оказал на Пушкина влияние не только вообще как новеллист, которого много читали в свое время, и который, не будучи настоящей творческой силой, был превосходным рассказчиком и первоклассным стилистом. В особенности и в частности Нодье оставил след на Пушкинском творчестве, как автор «Жана Сбогара», произведения, по основному мотиву явившегося непосредственным прототипом «Дубровского». Об этом, до сих пор почти, кажется, не замеченном нашими «пушкинистами» соотношении, — в следующий раз.

П. Б. СТРУВЕ

ДУХ И СЛОВО

Статьи о русской
и западно-европейской литературе

YMCA-PRESS

11, rue de la Montagne Ste-Geneviève
75005 PARIS